

Шкуркин рассказ / рассказ

Category: Heкаýalar, Kitарсу

написано kitарсу | 24 января, 2025

Шкуркин рассказ / рассказ ШКУРКИН РАССКАЗ

Картинг... Ублюдочный болид.

Мечта застигнутых гормональной бурей подростков. И, пусть меня никогда особо не штормило, так, временами потряхивало, все равно, когда наша встреча состоялась, соблазна я не избежал...

Втиснувшись же за руль и дернув с места, как таракан на фальстарте, я и вовсе «попал».

Педаль, – змеиную голову, до упора в пол. Мотор ревет, как у застрявшего в борозде «Кировца». Трясет так, будто оседлал не дымящую каракатицу с ограниченными возможностями, а, по меньшей мере, горнопроходческий комбайн.

И, чему удивляться, - я заметил их слишком поздно.

Пара не по погоде одетых, справных бородачей. Лиц на скорости не разглядеть, но, с такими габаритами их можно и вовсе не иметь.

Узкую горловину выхода заткнули, как две разбухшие пробки. Пуля в пулю...

Прибавив, нарочно, на самом вираже, еще подумал: «врезаться бы сейчас в кого, да чтоб в хлам! И гайки вразлет, метров на пятьдесят.

А лучше вылететь птицей красиво, подвесками вверх, через ограждение и на клумбу, ближе к станции «Парк Горького».

Но участники гонок смиренно жмутся к проволочным бортам. И ограждение надежное – шины в три ряда.

А раз так (к тому же, Парк в субботу место многолюдное и для трепанации моего черепа им все равно придется подыскать что-нибудь более подходящее), то пока не кончится мое время, я еще покатаюсь...

– Дело пойдет, - врал Николай Северьянович Шкуркин, пожилой оформитель со Щелковского химзавода, по вторникам и пятницам ведущий еще изостудию в городском Доме Пионеров. - Дело

пойдет, - шурился он, как в прицел «Драгунова», силясь оценить мое первое творение.

Сухонький, длинноволосый, весь будто хлоркой выбеленный, он здорово походил на генералиссимуса Суворова. Мне он, при нашем знакомстве, показался едва ли ни его ровесником.

К Николаю Северьяновичу я попал заскорузлым самоучкой, в том смутном возрасте, когда нормальные, то есть с детства склонные к изобразительному искусству люди отзанимались уже плотно в художественных школах и тому подобных учреждениях года хотя бы по три.

Рисунок, на самом деле, интересовал меня давно и притом, интересовал необычайно. Но отчего-то я был совершенно уверен, что уж тут-то я и «сам с усам». Рисовал я всегда, но все больше «из головы» и с натурой никогда не считался. Отец же мой, человек военный, но, несмотря на это, культурный и образованный, углядев подобную мою страсть, частенько понуждал меня посещать Пушкинский музей, что на Кропоткинской, или Третьяковскую галерею.

Там, обычно бегло оглядев роскошные живописные полотна, я, случалось, часами зависал перед рисунками, часто подготовительными или даже учебными, академическими, как во Врубелевском зале.

Наброски же Серова и вовсе вводили меня в ступор. Несколько карандашных линий на бумаге, и все! Но какая сила рвалась изнутри! И напряжение это все передавалось мне, заставляло подолгу стоять, внешне неподвижно, но внутри просто изнывая от неясного, почти мучительного восторга.

А живопись? Конечно, я не был к ней равнодушен. Просто все, что я тогда видел, вызывало у меня один вопрос: как? Как вообще можно было это сделать?! И ответа для себя я не находил даже в самых дерзких своих мечтах. Желать же того, чего никогда не достигнешь, было не по мне...

А тут, - вот-вот, еще немного, - било меня за домашним рисованием, - и я тоже так смогу!

Но, что-то все не получалось...

И я пришел к Шкуркину.

Учеников его я застал корпящими над кондотьером Гатамелатой. Маленькая гипсовая копия моей любимой, не раз виданной в музее скульптуры. И у многих на бумаге уже было похоже! Гордый римлянин с перебитым боксерским носом на могучем коне...

А ведь встретить я этих ребят раньше, ни за что бы не признал ни в одном из них художника. Но тогда, чем я хуже?! Дайте мне сейчас бумагу, карандаш «Архитектор», МЗ, (я любил, чтобы помягче) у меня с собой, - да я просто рвался в бой!

Но коварный старик, в качестве вступительного экзамена в свою и так уже переполненную студию предложил мне изобразить мерзкую расшатанную табуретку. По возрасту этот «арт-объект» годился ему в старшие сестры, к тому же положил он его горизонтально, стертыми ножками вперед...

Через два часа, к концу занятия, утомленные гипсом ученики его потихоньку стали собираться за моей спиной. По отдельным, доносящимся до моего слуха замечаниям, я понял, что ждали они заслуженного развлечения.

Рисунок, и, правда, вышел еще тот. Нечто среднее между зенитной установкой с опущенными для стрельбы прямой наводкой стволами и парящим в открытом космосе инопланетным кораблем.

Честно говоря, это был вообще мой первый опыт работы целиком с натуры, и сделал я с ней, кажется, все, что хотел...

Шкуркин немного еще помолчал. Покивал, озадаченно, острым подбородком, выдохнул горестно:

— Эк, ты ее раздраконил...

Студийцы радостно затаились, а он вдруг заявил, причем с самым серьезным видом:

— А что? Очень душевно. Можешь забрать,охранишь для потомков. Только надпись пояснительную сделай, чтобы не забыть. Ну, вроде: недолгий полет табуретки, выбитой из под ног повешенного флибустьера.

Кругом, с облегчением, - ну, наконец-то! - захихикали, он же строго заключил:

— В пятницу у нас живопись. Приноси акварельные краски. И лучше «Ленинградские», они на меду...

И началось. По вторникам рисунок. По пятницам живопись. Я не получил здесь того, что хотел. Я получил больше.

На занятия я ходил нарочно пешком. Через деревню Потапово, где всякий раз можно было нарваться на довольно серьезные неприятности- сверстников из военного городка там не жаловали. Мимо микрорайона, где было примерно то же, только хуже. По чужому для меня Щелково.

Я проходил сквозь двор старинной Шелкоткацкой фабрики, шелканье станков которой и дало когда-то название этому городу, мимо корпусов «Техноткани» и, почти сразу за ее вековым каменным забором, ступал на шаткий понтонный мосток через Клязьму.

А дальше все вверх. По широкой аллее, зажатой с двух сторон разбитым асфальтом с односторонним, как на эскалаторе, движением. Потом, недалеко, до станции и, уже от «Воронка» вправо, вдоль крутой железнодорожной насыпи, под звук проносящихся над головой Московских электричек, мимо деревянных домиков до самого Дома пионеров.

На первом этаже его располагались мастерские художественного фонда. Планшеты, вывески – наглядная агитация. Несколько не всегда трезвых, но в целом очень интеллигентных оформителей вечно что-то красили на огромных, расставленных вдоль стен щитах.

«Пятилетку в три года», «Больше товаров хороших и разных» и тому подобные изыски. Но запах масляной краски, разбавителя, свежеструганной древесины кружил мою голову, заставлял раздуваться ноздри. Я всегда чуть медлил, проходя мимо...

И, когда взмокий от быстрой ходьбы, с колотящимся сердцем, я взбегал, наконец, на пятый этаж, где в самом конце коридора, в небольшой комнате, ютилась изостудия, я бросался к мольберту в таком кураже, словно прыгал с парашютной вышки.

Каждое занятие у Николая Северьяновича было для меня войной, сражением, к которому я сам себя, наверное, неосознанно подготавливал и которое я ни за что не мог проиграть.

Два часа пролетали незаметно, в какой-то горячке. Зато потом, в школе, во дворе ли, я был отгорожен, закрыт прочно от всего

внешнего, такого для меня скучного, часто враждебного, защищен от него невидимым, но оттого еще более надежным панцирем.

Свою десятую школу я любил, но учиться мне было неинтересно. На всех уроках я только и делал, что рисовал. Учителя наши, впрочем, люди в большинстве своем демократичные, смотрели на это сквозь пальцы.

Особняком стояли только труд и физкультура. Кудрявый, с мягким лицом, физрук Игорь Палыч, куда больше похожий на поэта Есенина, чем на лыжника, всегда благоволил ко мне. В ответ я участвовал, не особенно жалея для него свое личное время, даже в самых дурацких школьных соревнованиях.

Трудовику я периодически рисовал наглядные пособия. Он же (вот ведь Макаренко!), примерно раз в месяц заряжал меня с двумя моими одноклассниками, очень далеко не отличниками, Вовой Яржемковским и Лехой Беляковым, сопровождать его в Москву на хозяйственную базу за материалами и инструментами. Вместо занятий, на целый день!

Это было серьезной привилегией, которой мы весьма дорожили и, которая, сама по себе, вполне успешно нейтрализовала нашу возрастную склонность к саботажу и открытому неповиновению.

У Сергея Николаевича (трудовика), был для нашей троицы, к которой он до седьмого класса, пока не выгнали, присоединял еще и Стаса Полякова, третьегодника и книгочея, сидевшего со мной за одной партой, еще один безотказный педагогический прием.

Он снимал нас с урока, причем любого, (... тут уж, когда машина придет) разгружать привезенную в школьную столовую снедь, за что мы, честно оттащав тяжелые поддоны, получали натуральное вознаграждение.

Все остальные аспекты обучения затрагивали меня только по касательной. С вечера вторника я ждал наступления пятницы и наоборот.

Настоящая моя жизнь была в студии!

Одна беда: Шкуркин меня ничему не учил. На занятиях, как почему-то повелось с первого моего там появления, я обычно делал, что хотел. Николай Северьянович останавливался за моей

спиной, бывало, подолгу молча наблюдал. Иногда, нечасто, но всегда как-то неумеренно хвалил.

Раз он предложил нам сделать домашний автопортрет. Вернувшись, домой, уже вечером, просто колотясь от нетерпения скорее начать, я сел перед зеркалом в дверце шкафа, в контражур наоборот (лампа висела позади меня), делала мое лицо темным, смазывала черты, и в полчаса карандашом на шершавой акварельной бумаге, без единого исправления, что-то там изобразил.

Мрачный тип, взгляд в упор из подлобья. С ассиметричным, так получилось, лицом и сжатыми напряженно губами, в расстегнутой офицерской рубашке.

Во вторник, перед рисунком Шкуркин устроил просмотр.

Рисунок мой, в сравнении с другими, тоже разложенными на полу, показался мне темным, грубым и каким-то неправильно кривым.

Но Николай Северьянович, поглядев на него, сказал, как всегда, с могильной серьезностью, которая так не вязалась с его мягким голосом:

— А ведь как живописно! Просто молодой Пикассо...

Не могу сказать, что я был коротко знаком с великим испанцем, но в краску Шкуркин меня вогнал.

И это при том, что у того же Миши Замяткина, самого взрослого студийца, маленького жилистого парня с длинными мышинными волосами, отчего-то работавшего токарем на «Техноткани», через два листа от моего лежал автопортрет, исполненный просто классически! Сепия, изящная, легкая, фотографически точная.

Да и у других рисунки были куда более похожи на оригиналы.

Этот и подобные казусы мешали моей радости. Я все думал: или у Шкуркина такой тонкий юмор и я для него попросту безнадежен. Или он, в самом деле, видит во мне что-то, чего я и сам не могу разглядеть и потому, руководствуясь неизвестным мне планом, бросает меня на занятиях в вольное плавание.

Много раз я приступал к нему с просьбой научить меня рисовать «похоже». Он долго отшучивался:

— Потом, потом...- говорил. — Все успеется. Даже надоест еще.

Но я не унимался. Ведь для того я и пришел к нему, чтобы научиться рисовать, как настоящий художник, то есть, по моему разумению, похоже. И однажды, когда я остался дежурить, - прибраться в студии после занятий, он вдруг первый заговорил со мной:

— Хочешь «похоже»? А не сходить ли тебе за этим в краеведческий музей, где чучела? Вот уж они точно похожи. Просто, как живые. Смотри, настоящий волк стоит! Только внутри опилки и глаза стеклянные. Может, тебе таксидермистом сделаться? Или вот еще: посмертная маска. Что может быть точнее? Зачем вообще нужна скульптура?!

Шкуркин говорил горячо. Впервые без своей вечной непонятной мне полуулыбки. Потом он, так же неожиданно замолчал, посмотрел строго, но, видя мою растерянность, закончил уже спокойно:

— Можно и фотографией заняться. Очень похоже будет. И шкуру ни с кого сдирать не придется...

Возвращался я в расстроенных чувствах. Из всего сказанного Николаем Северьяновичем я понял одно: учить меня рисовать он не собирается.

Однако желание мое стать художником было таким жгучим, что через неделю, оставшись вне очереди дежурить, я снова принялся его донимать.

— А как же Миша Замяткин? - зашел я с фланга, широким жестом обводя увешанные его гризайлями стены студии. - Или эта, Алена, как ее? - я имел в виду еще одну ученицу Шкуркина. Она оканчивала школу, готовилась поступать в Строгановку и на занятиях писала потрясающие гуаши.

Шкуркин только хмыкнул.

— Пошли домой, - сказал он, и вместе мы отправились в сторону Воронка.

Март подходил уже к своей середине. Занятия оканчивались в семь часов, в густых сумерках. Фонарей на этой дороге отродясь не водилось, и почти невидимый снег ровно валил с темного неба, тяжело, пьяно оседал на ноги.

Николай Северьянович жил где-то в Хотово, в районе Химзавода и до автобусной остановки нам было по пути. По дороге он снова заговорил:

– Форма, к которой ты так стремишься, всего лишь пустота. А пустота, если ты понимаешь, о чем я сейчас, сама уже есть форма. Художник всегда рисует время. Только время и ничего больше, даже если на холсте лес или пышный кухонный натюрморт. Потому, что время – единственное место, где хранятся наши чувства...

Какое-то время мы шли молча. Он впереди, я, гуськом, следом. Тропинка узкая, не разминуться, да нам тогда никто и не попался навстречу. Вдали уже показалась заваленная снегом остановка, когда он, чуть сбавив шаг, неожиданно продолжил. Нарочито негромко, чтобы я вынужден был изо всех сил напрягать слух:

– Живопись- живое письмо. Писание жизни. А жизнь для нас – только то, что мы чувствуем на ее протяжении. Во время жизни. Нет чувств – время мертво. И ходят среди нас живые мертвецы. Одним длинным шагом, в надежде на то, что сейчас я узнаю что-то об этих таинственных существах, я нагнал его.

– Вампиры?!

Николай Северьянович даже остановился.

– А леща не хочешь?- предложил он по свойски. – Вампиров ему подавай. Тут и без них от трупоходов не протолкнешься. Иные так и появляются на свет, мертворожденными, без чувств. И живут потом целый век, сами не зная, что мертвы. Другие свои чувства надолго переживают. Правда, изредка случается и наоборот...

Немного разочарованный, я снова поплелся следом. Но, уже через минуту жадно ловил каждое его слово.

– Картины, как люди,- говорил Николай Северьянович еще тише.- Вот писажись, и бабочка на ней пришпилена, как листок в гербарии. Это не картина. Это только ее чучело.

На картине бабочка летит.... Там время растянуто и есть место для жизни. Жаль, когда художник думает, что он живописец, если он – писажист. Там на первом месте жизнь. А тут, сам понимаешь...

Впереди, сквозь снегопад, мелькали станционные огоньки. Мы уже подходили к Воронку. Дальше нам было в разные стороны. Мы скомкано попрощались и разошлись.

Но с того дня я уже не знал точно, что для меня важнее: учиться рисовать у Николая Северьяновича или слушать его.

Сам я к нему больше не пристававал. Ждал молча, от занятия к занятию, уверенный, что рано или поздно он непременно вернется к нашему разговору. И, недели через три, когда я, к радости прочих студийцев, сделался уже постоянным добровольцем в мытье полов и выносе мусора, так и случилось.

— Не цепляйся за форму, - сказал он после занятия, разглядывая очередной мой рисунок, натюрморт с гипсом и драпировками. - Научить рисовать можно и обезьяну. Только зачем? Вставь фотографию в эпидиаскоп или сделай сетку, как Дюрер. Вот, и похоже! Только Дюрером от этого не стать.

Знаешь, что ответил твой любимый Врубель Репину на слова того, как он ему не нравится? Я бы удавился, - сказал Врубель, если бы вам это понравилось!

Врубеля я обожал. Но и к Репину относился с большим почтением. Видя мое удивление, Шкуркин, усмехнувшись, пояснил:

— Когда я был в солдатах, наш старшина, некоторым предлагал, как он выражался, вместо «люминия», грузить «чугуний». Так вот, поясняю для особо любознательных: — Один классик спустил с лестницы другого потому, что тот, кто пишет жизнь, ни за что не променяет ее на посмертную маску. Ведь снаружи, на поверхности все смешано. Свет и тень. Белое и черное. Тлен и цветение. В жизни, когда все смешано — в лучшем случае смешно. В живописи — грязно, и для цвета губительно. Но художник видит чистый цвет...

Потом он говорил со мной еще несколько раз. И всегда возвращался к разговору о времени.

— Картина, как жизнь. Чувства, которые испытывает художник, втискиваются в раму долго. Дни, месяцы. Иной раз годы. За это время холст и становится живым, а картина иногда живописью.

Отчетливо помню я и последний наш разговор. Николай

Северьянович говорил тихо, ровно, точно берег силы:

– Писажист пишет куст сирени, как он его видит, как он ему является. Похоже, или нет, я сейчас не о том. А живописец, он уже не снаружи, он внутри этого куста. Он теперь сам сирень, сам растет с ней, цветет и опадает. И неважно, сколько цветков или веток на ней, она живая...

Впрочем, - он коротко глянул на меня, - тебе особо беспокоиться не стоит. Ты ведь левша, так?

– Ну, да, - отвечал я в некотором смущении. - А как вы догадались?

– Рисуешь правой, а молотком, когда планшет сколачивал, левой махал.

– Это провал, - я сокрушенно развел руками. - Ну, и что с того? В первом классе еще переучили. Знать бы, зачем?

– Вот и я о том. Теперь, чтобы стать хотя бы ловким ремесленником, жизнь потратить придется. Все равно, что мне выучиться левой рисовать. Ну, и не ломись в открытую дверь. Замяткина тебе все равно не догнать. Но Мишка, он- то, как раз, парень честный, чучельником быть не захотел. Лучше, говорит, токарем... А раз такие дела, занимайся сразу живописью. Будь другим. Другой на своем поле один, а значит, всегда первый...

Домой я не шел, летел. Заниматься стал с удесятенной силой. Неделя летела за неделей. У меня, как мне показалось, дело, действительно, «пошло».

Я даже простил Николаю Северьяновичу то, что он, похоже, и не собирался учить меня рисовать, «как все». Он предлагал мне быть другим, хотя я всегда хотел быть всего лишь первым. Я почти готов был уже с ним согласиться, до того меня «забирало», как вдруг, все кончилось...

В тот день у нас должна была быть живопись. Я уже чувствовал эти стекающие с натянутой, как барабан, бумаги, разноцветные мазки, слышал их запах, сладковато-терпкий, видел лужу под мольбертом. Шкуркин так нам и говорил:

– У акварелиста под ногами должна быть вода...

Но дверь в студию оказалась запертой. С пол часа мы тщетно

пытались узнать, в чем дело. Потом появилась тетка в синем халате. Сказала, почему-то, с раздражением:

– Занятий не будет. Умер ваш Шкуркин.

Помню, я сначала даже не очень расстроился. Скорее, обиделся на него. Как так? Я же ничему не успел научиться. Он все говорил: потом, потом.... А сам взял и соскочил...

Миша Замяткин, с которым мы тогда, в первый и последний раз немного поговорили, сказал, тоже, как мне показалось, спокойно, без особенных интонаций:

– У него два тяжелых и контузия. Он ведь в училище «девятьсот пятого» еще до войны учился...

И все...

Нехорошо мне стало позже. И чем дальше, тем больше расширялась та вначале не слишком заметная пустота. Вроде выдернули один зуб, коренной, ну и что? А через пару дней встаешь, а жевать-то нечем.

Скоро я начал чувствовать какой-то голод. Конечно, я продолжал рисовать. Но, оказывается, это было еще не все.

Голод не утихал, напротив, если раньше, ко всем своим занятиям, я был еще постоянно влюблен, причем сразу в трех девочек одновременно, - одноклассницу, из параллельного класса и годом старше, и меня было так много, что на все хватало, то теперь я весь словно съежился, и ничто меня больше не радовало.

– Надо продолжать учиться, - решил я и пошел в городской Дворец культуры, где изостудию вел молодой художник из Москвы. Мест в ней решительно не было. Народу, все больше взрослого, рисовало человек тридцать, стул поставить негде.

– Я у Шкуркина занимался, - сказал я самоуверенно, но, по моему, меня просто не услышали.

Длинный, гнутый художник в сером костюме, посадил меня в коридоре под гипсовой доской, с не то цветком, не то ухом Давида, и предложил мне попробовать. Нет, не цветок или ухо библейского персонажа, а доску. Гипсовую доску в дикой, под очень острым углом, перспективе.

Я бодро взялся за дело, но через час, к своему стыду, понял,

что совершенно не способен нарисовать с натуры мало-мальски правильную геометрическую форму. Построение, перспективное сокращение, - все это было тем, к чему я раньше даже не прикасался.

— Ну, вот, - вкрадчиво, с каким-то даже сладострастием, сказал художник. - Сам же все видишь. А говоришь, - занимался...

Приняв мое раздражение, причем, не столько на него, сколько на Шкуркина, за подавленность, он прибавил, прощаясь:

— Да ведь все равно, мест нет...

Через месяц, мой одноклассник, Сережа Фатеев, после некоторых с его стороны, уговоров, привел меня в художественную школу, которую сам он посещал третий год.

Вот уж где меня приняли хорошо! Директор и преподаватели были все люди молодые, после Московского Полиграфического института.

Книжные иллюстрации, карикатуры, наброски. У меня все вдруг стало получаться, даже рисунок с натуры! А портреты мои директор хвалил особенно. Свой (как-то он сам решил поработать для нас моделью) сделанный в четверть часа, даже попросил подарить ему.

Были, правда, у меня трудности с композицией, но директор, видя мою конфликтность, в порядке исключения, разрешил мне ее вовсе не посещать. Лишь бы я продолжал учиться...

Все шло вроде хорошо. Я, наконец, действительно учился рисовать «похоже» и, странное дело! - преподаватели здесь видели во мне конченого реалиста и даже ставили меня этим в пример.

Но что-то меня все время словно подтачивало. Точно мне нужен был ответ на какой-то самый важный вопрос, однако куда больше я хотел знать, что же это за вопрос.

Чтобы как-то заполнить поселившуюся во мне с некоторых пор пустоту, я частенько прогуливал школу и отправлялся в однодневные, безо всякой цели, странствия.

Слонялся, стараясь по сильнее заблудиться, по Московским закоулкам. Бродил по Мытищам, добирался до Монино. Иногда это помогало...

В один из таких дней, часа в три пополудни, я углубился в лабиринт частных домиков по правую сторону от дорожки, которую еще не так давно, дважды в неделю, топтал, торопясь в изостудию.

Раньше я вечно боялся опоздать, лишь краем глаза, на ходу, выхватывая засыпанные снегом голые ветки и островерхие крыши с траурными закопченными трубами. Но теперь был май, и сбегавшее молоко пенной шапкой накрывало темные разросшиеся сады.

Спешить мне было некуда. Я свернул в первый же переулок и, не заботясь о направлении, с полчаса плутал в хаосе безобразных деревянных строений. Потом я оказался в узкой, почти прямой улочке, с двух сторон зажатой глухими гнилозубыми заборами.

Солнца за низкими облаками видно не было, но уже сильно парило. Я, с непонятным для себя самого упрямством, продолжал тащиться вперед. Людей никого. Ни на встречу, ни во дворах, сколько я не прислушивался. Даже собаки здесь не лаяли.

Скоро заборы пошли плотные, без щелей, ровные, как стены. Дорожка сузилась. Теперь я едва не касался плохооструганных, отчего-то сырых досок. Быстро смеркалось, словно наступил поздний вечер, хотя я был совершенно уверен, что не плутаю и часу.

Полоска неба над головой, только и видимая из-за заборов, налилась черно-синей тяжестью, приблизилась, почти захлопнула тоннель сверху. Мне уже давно не хватало воздуха. Еще немного и я не смогу больше двигаться, увязну, застряну в щели между навалившимися тяжело стенами, пропаду, задохнусь....

Легкие мои уже не смогут больше расшириться.... Кричать, звать на помощь поздно. Остатка воздуха не хватило бы и на хрип.

Но тут, когда легкие мои готовы были разорваться, как растянутая до предела калька, стены неожиданно разошлись, и я, точно поплавок, выскочил на широкую улицу, почти на проезжую ее часть...

Мимо вяло тархтел грузовик с прицепом и, с обочины, я жадно, полной грудью, хватал щедрый его выхлоп.

Я стоял прямо, только дорогу перейти, перед задним фасадом городского Дворца культуры.

Облака снова разошлись. Вокруг посветлело. В твердом намерении нигде больше не задерживаться, я плюнул на оставшийся позади забор и отправился домой.

Я почти уже миновал ДК. С тех пор, как провалилась моя попытка попасть в здешнюю изостудию, он перестал для меня существовать даже в качестве кинозала. И все же я оглянулся...

Кусок ватмана светился слева от входа, в тени толстой обшарпанной колонны.

«Акварели художника Шкуркина, - было написано плакатным пером. - Вход свободный».

Не раздумывая, я вошел внутрь.

Выставка располагалась на первом этаже, в огромном пустом фойе. Картины, - акварели в тонких белых рамах под стеклом были развешаны по трем стенам.

Четвертая, западная стена была с двумя большими вытянутыми окнами. Под одним из них сидела древняя старуха вахтерша, вязала длинный алый носок. Недоверчиво глянув на меня, она снова уткнулась в свое рукоделие. Больше в фойе никого не было...

И я пошел вдоль картин. Никогда раньше не видел я работ Николая Северьяновича. А тут целая выставка. Это были все больше пейзажи. Те же, хорошо знакомые мне окрестности Щелково. Почти на каждой работе – Клязьма с отражающимися в ней домиками, мосток, по которому я так часто ходил.

Только на акварелях его, я даже не сразу это сообразил, все было как бы наоборот. Неказистые охристо-серые домики под мутным небом, в воде отражались кристальными гранями, ярким сияющим цветом.

Кажется, даже по размерам, архитектуре они были другими, совсем не теми, что стояли на берегу и кому они, по законам отражения, обязаны были своим рождением.

Да и сама Клязьма, узкая, мутно-зеленая, чем дальше к горизонту, тем шире разливалась она, переходя без видимых границ цвета и берегов в такие же, отчего-то сине-фиолетовые луга, втянувшие свой необыкновенный цвет из укрывавшего их круглого неба.

Я ходил и снова испытывал то чувство, что всегда охватывало меня перед встречей с Николаем Северьяновичем. Меня потряхивало, как перед прыжком. У одной картины я застыл надолго.

Это не был пейзаж. Группа людей, каких-то размыто-оранжевых, почти слитно, полукругом стояла у грубой каменной кладки. Лица прописаны не были. Общая масса, но без мешанины. Они просто были вместе, словно ждали чего-то.

А дальше, до края и за край картины, люди двоились, множились, шла размытая раскадровка того же изображения. И все темнее было оно, отходя, удаляясь от центра.

Из-за рамы же, из темноты, где люди были едва различимы, бил яркий свет. До центра композиции он не доходил, но казалось, шел, пробивался сквозь темноту, освещал дробящиеся фигуры. Картина называлась «Проекция»...

И я вспомнил наш последний разговор. Тогда Николай Северьянович сказал несколько слов о проекции времени. Он вообще никогда не договаривал до конца, обрывал на самом для меня интересном, как бы выбрасывал меня из лодки, - плыви сам, если сможешь...

— Да ты реалист, - сказал он тогда, глядя на очередное мое творение. - Впрочем, все реалисты. Только у каждого реальность своя.

Все что было, есть и будет, — происходит одновременно, всегда, только в разных местах времени. Наши чувства, - это линза, проецирующая из когда-то в сейчас то отражение, что хранит их. Апогей чувств — вера. Такая линза зажигает Благодатный огонь...

Не стану утверждать, что тогда я хоть что-нибудь понял. Стоя у картины, я понимал, что понимаю гораздо меньше.

К тому же, Николай Северьянович задал мне на прощание, которое, действительно оказалось последним, пару неразрешимых, по своему обыкновению, вопросов:

— Само слово хроно, - время, разве не созвучно оно своему назначению — хранить? Разве не тождественны слова их изначальной сути?

С трудом я оторвался от его «Проекции»...

Дальше были несколько видов старого городского парка, поздней осенью, с засыпанными разноцветной листвой аллеями, понуро-окаменевшими, впавшими в спячку аттракционами.

У последней работы, в самом углу (оставалось еще пять, на северной стене, до которых я так и не дошел), я снова остановился.

Поперек листа, в верхнем правом углу, шел мост. Все тот же, через Клязьму. Но тут был необычный вид, снизу, так, что над мостом синел только краешек неба. Все остальное было отражение, темное, многослойное. И акварель была написана как бы с двух точек зрения, - мост снизу, а отражение, это зазеркалье, - сверху.

И больше ничего. Только глубокие, полупрозрачные, темные слои медленно скользящей воды. Дна не видно, - Клязьма мутная. Ни осоки, ни живописных бревнышек, только вода.

Но, чем дальше я вглядывался, тем глубже, казалось, проникал мой взгляд. Слой за слоем; еще немного и я достигну самого дна...

Вдруг, - я чуть сдвинулся, - мне показалось, из-под виридоново-умбристой толщи проглянуло большое белое лицо.

Вода стала чуть прозрачней, и вот уже сам Николай Северьянович смотрел на меня пристально и спокойно.

Отмывка? Или старый акварелист использовал восковые мелки, с которых соскальзывает краска?

Лицо было удивительно по портретному сходству, только много больше натуральной величины и написано полупрозрачными дымно-белыми длинными мазками.

Да это отражение!.. И Николай Северьянович стоит сейчас за моей спиной.

Я обернулся так быстро, что плечи мои оставались еще на месте, когда голова уже повернулась назад.

Но зал был пуст. Исчезла даже старуха вахтерша. Только на спинке ее стула ядовито краснел недовязанный носок.

Медленно я вернул голову в прежнее положение. Никакого лица под водой не было. И сколько потом я не клонился влево — вправо, пытаюсь поймать нужный ракурс, ничего не помогало.

Игра света. Отражение в стекле крашеной белой колонны в центре

зала. Все, что угодно...

Луч вечернего света, бивший в окно позади меня, скользнул ниже, за нижний край рамы. Выхватил полоску шершавой штукатурки, сделал ее Тициановско – желтой, горящей. Отпрянув, я повернулся и быстро пошел к выходу. И шаги мои гулко множились под высоким лепным потолком.

В кассовом зале уже кучковались начавшие собираться к семичасовому сеансу зрители. Показывали «Бобби», и местные ткачихи в очередной раз готовились пустить слезу.

Домой я возвращался на автобусе. Идти привычной дорогой, через мост, мне почему-то расхотелось.

И, конечно, следующим утором я снова не пошел в школу. Я поехал в Москву, разгонять, как говаривал мой родитель, тоску....

А что для этого подходит больше, чем ЦПКиО им. Горького?

Там, гуляя среди праздной публики, я скоро забыл о вчерашнем своем потрясении.... Ходил, слушал отвратительную музыку из репродукторов, съел необыкновенно вкусное мороженое за двадцать две копейки, шоколадное, под одноименным с красками названием «Ленинградское», и часам к двенадцати вышел к небольшому пруду.

По круглой, почти декоративной луже плавало несколько лодок. По берегам, на скамеечках, отдыхали трудящиеся, малолетние дети и пенсионеры.

И тут я увидел их. На синей, с фигурной спинкой скамейке сидели два настоящих художника. Дородных, бородатых, такими я всегда их и представлял, не хватало, разве что бархатных беретов.

Рядом с ними паслась девочка, вероятно, дочь одного из них, моя ровесница или чуть младше, красивая, с карими глазами навывкате.

Оба они увлеченно рисовали. Обогнув их сзади, со стороны кустов сирени, я осторожно приблизился.

Один писал акварелью. Рядом баночка, куда он макал, оmyвая, довольно толстую колонковую кисть, раскрытая коробка с красками. Писал он на планшете с натянутой на него бумагой.

Так, ничего особенного. Пруд с лодками, деревца напротив. Но работал лихо, быстро. Красочные потоки радугой струились по листу. Он ловко подхватывал их кончиком кисти, неуловимым движением отжимал цвет или напротив, перебрасывал мазок на другое место.

Все было сыро, ярко, один цвет вливался в другой.

Второй художник делал забавные наброски цветными карандашами. Вот, две московские старухи с соседней лавочки, болтают, точно школьницы. Вот солидный ребенок лет пяти что-то втолковывает мамаше. Он рисовал как – бы рассеянно, легко касаясь бумаги. Фигурки сами, в несколько штрихов, появлялись на бумаге, увеличивая порядочную толпу, - рисовал он всех на одном листе, составляя из разношерстной публики довольно странную компанию. Меня они вроде бы не замечали. Я же, стоя позади, с жадностью поглощал каждое их движение. Девочка, похоже, не видела ни меня, ни художников. Плавала себе где-то...

Неожиданно тот, что делал наброски, не поворачиваясь, сказал:

– Вот тебе, Мариша, и поклонник...

– Я, вообще, тоже занимаюсь, - смутился я.

– Да? И где же?

– В Щелково, - ответил я и почему-то прибавил, совершенно уверенный, что настоящие художники, тем более в Москве, просто не могут не знать моего учителя. - У Шкуркина. Николая Северьяновича.

Акварелист, также, не отрываясь от работы, бросил:

– А что шляешься без дела? Рисовать надо всегда.

Приятель же его, он, очевидно, и был отцом Мариши, продолжавшей и теперь оставаться ко всему безучастной, нараспев забубнил:

– Шкуркин, Шкуркин.... Не знаю такого. Шкуркин – Жмуркин...

До этого мгновения я слушал их, но, как-будто, не слышал. Не доходило. Не могло такого быть. А тут, мне словно лом в позвоночник вставили и конец его, острый и холодный, распирает теперь мое горло.

Набор слов у меня для подобных случаев был самый скромный, дворовый. Но тут передо мной были художники...

– С вами противно разговаривать, - сказал я, тоном английского

лорда, памятуя о том, что главное достоинство мужчины – сдержанность.

На этом, впрочем, мои благие намерения закончились вместе с приличными манерами. – Вы!..- выпалил я.- Писажисты!!!

По моему, это прозвучало, как самое изощренное ругательство.

Весьма довольный собой, я быстро пошел прочь.

В парке к этому времени стало еще многолюдней. С пол часа я потолкался среди нарядной публики, размышляя о том, возвращаться домой прямо сейчас или истратить до конца оставшиеся деньги и на электричке ехать, как водится, зайцем. Поглощенный этим нелегким выбором, но в очень приподнятом настроении, я вышел к картодрому...

И теперь пришло время платить за полученное удовольствие.

Машины стали. Медленно, очень медленно я выбрался наружу и, заплетаясь ногами, побрел к своим палачам. Уже одно то, что они здесь, говорило о серьезности их намерений. Найти человека в такой толчее дело не самое легкое.

Девчонки с ними не было,- плохой знак,- думал я, на ходу прикидывая варианты бегства. Бородачи чуть посторонились, пропуская прочих откатавшихся, и снова плотно сомкнули плечи. Служитель проверял картинги. До следующего заезда оставалось минут десять. Отсидеться было негде.

Ожидание казни хуже казни,- решил я, подошел к ним и нагло глянул в глаза тому, что стоял чуть ближе.

Я ожидал чего угодно. Из того, что непременно сделал бы сам, окажись на их месте. Но бородач неожиданно протянул мне пухлую руку.

– Извини, парень,- пробормотал он.

– Космонавтом будешь,- приятель его, это он писал акварелью, кивнул на остывающие картинги, смущенно поежился.- А писажисты, это кто?

Они чуть разошлись. Нагнув голову, я шмыгнул между ними, так ничего и не ответив...

Весь обратный путь я простоял в тамбуре. Было прокурено, ото всюду дуло, трясло, лязгало, к тому же в любой момент могли

войти контролеры. Но мне так лучше думалось. Я думал о них. Бросить все, битый час искать меня в переполненном парке, и только затем, чтобы извиниться? Они были другие...

Когда я вышел на платформу, над Воронком висел плотный туман. Застывшая в воздухе морось легко прикасалась, холодила разгоряченную кожу. Все было тихо, сонно и слишком тепло для середины мая.

По обе стороны от железнодорожной насыпи раскинулось непроходимое яблочное море. Аромат его пробивался даже сквозь неразъемные запахи окалины, мазута и формалина.

Заборов видно не было. Они давно утонули. Лишь островерхие крыши кое-где рифами выглядывали среди белых барашков.

«Время никуда не течет, - подумал я. - Оно неподвижно, как это изнурительно пахнущее море. И берега его неопределенно далеки. Мы сами блуждаем между его волнами, чаще вслепую, иногда думая, что знаем путь, гонимые мечтой или сносимые воспоминаниями.

От восторга, к которому примешивалась непонятная боль, я простонал:

— Я буду художником!..

Но, еще до того, как стихли колеса отходящей Монинской электрички, я вдруг ясно понял, что никогда им не буду... Никогда.

Об авторах: ВАЛЕНТИН БЕРДИЧЕВСКИЙ и ТАТЬЯНА МОКРОУСОВА

Родились в Омске. Члены СП России. Авторы 3 книг, нескольких пьес. Печатались в ж. «Москва,» «Урал,» «Литературный Омск,» «Складчина,» сборниках и альманахах. В Омском театре «Арлекин» были поставлены две пьесы для детей. Neкаýalar